

ОТ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ К ЛИТЕРАТУРНЫМ УНИВЕРСАЛИЯМ:
НЕСКОЛЬКО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ СООБРАЖЕНИЙ*

А. А. Фаустов

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 17 июня 2009 г.

Аннотация: дается анализ существующих подходов к проблеме выявления и описания ключевых слов русского языка (русской языковой картины мира). Обосновывается понимание литературной универсалии как лексико-референтного единства, отличающегося устойчивостью в рамках определенного периода развития национальной литературы и по-разному воплощающегося в конкретных текстах. Выдвигается идея о взаимодополнительности исследования лексических и литературных универсалий.

Ключевые слова: ключевое слово, концепт, литературная универсалия, текст, референт, маркема (лексическая универсалия).

Abstract: the article presents an analysis of existing approaches to the problem of identification and description of key words in Russian language (Russian linguistic picture of the world). The author suggests the notion of a literary universal as a lexical and referential unit which, though embodied in different ways in particular texts, demonstrates stable functioning within certain period of evolution of the national literature. The article advances the idea of complementary studies of lexical and literary universals.

Key words: key word, concept, literary universalia, text, referent, markeme (lexical universal).

В последние примерно два десятилетия широкое распространение получили исчисление и описание так называемых «ключевых слов» национальных языков / языковых картин мира (в статье речь пойдет о работах, имеющих дело с русской культурой). Теоретической платформой этого проекта могут считаться исследования А. Вежбицкой, а осуществляется он усилиями целого ряда ученых, среди которых нужно упомянуть прежде всего А. Д. Шмелева, И. Б. Левонтину, А. А. Зализняк, отчасти Н. Д. Арутюнову (и авторов многих статей в редактируемой ею серии трудов «Логический анализ языка») и др. Объектом исследования в подобных работах выступает, за редкими исключениями, русский язык вообще (без всяких исторических и иных ограничений), что на деле предопределяет заведомую неполноту и неизбежный субъективизм в выборе привлекаемых контекстов (при всем нередком изяществе и тонкости аналитических экскурсов).

Еще более сложная проблема — определение критериев, которым должны удовлетворять «ключевые слова». А. Вежбицкая, перечислив в качестве таковых общеупотребительность, частотность, способность порождать фразеологизмы и другие, пришла в итоге к весьма категорическому выводу: «Нет никакого

конечного множества таких слов в каком-либо языке и не существует никакой «объективной процедуры открытия», которая позволила бы их выявить». Поэтому единственный критерий, которого предлагает придерживаться А. Вежбицкая (а за ней и ее отечественные последователи), оказывается весьма произвольным: «...дело не в том, как «доказать», является ли то или иное слово одним из ключевых слов культуры, а в том, чтобы, предприняв тщательное исследование какой-то части таких слов, быть в состоянии сказать о данной культуре что-то существенное и нетривиальное» [1, с. 36—37]. (Более продуктивным, хотя и не до конца бесспорным, представляется критерий, сформулированный А. Д. Шмелевым: «Важно не то, что утверждают носители языка, а то, что они считают само собою разумным...» [2, с. 23].)

Сомнение в наличии — а потому и в необходимости — каких-либо объективных доказательств оборачивается тем, что их место занимает нечто другое — кажущееся интуитивно убедительным. На роль такого самоочевидного индикатора истинности выдвигается расхожее представление о русском национальном характере, о «русской душе», которой свойственны повышенная эмоциональность, стремление к крайностям, ощущение непредсказуемости жизни и сопряженный с этим фатализм и др. Неудивительно, что рассуждения о «ключевых словах» в такой системе координат легко превращаются в рассуждения о «ключевых идеях» или «сквозных мотивах» русской культуры в целом. Лингвистика стано-

* Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по образованию (Рособразования) в рамках исследовательского проекта 2.1.3 / 4705 «Универсалии русской литературы (XVIII — начало XX в.)».

© Фаустов А. А., 2009

вится служанкой «наивной» культурологии. Приведем два первых пункта (из восьми) очень красноречивого перечня подобных идей и слов, открывающего итоговую коллективную монографию:

«1) Идея непредсказуемости мира (*а вдруг, на всякий случай, если что, авось; собираюсь, постарюсь; угораздило; добираться; счастье*).

2) Представление, что главное — это собраться (чтобы что-то сделать, необходимо мобилизовать свои внутренние ресурсы, а это трудно) (*собираться, заодно*)...» [2, с. 11].

Бытованию многих из этих идей и обслуживающих их слов уже посвящены специальные разыскания, подбор контекстов в которых должен подтвердить то, что узаконено исследовательской интуицией и узнаваемо для русского читателя. В итоге реальность в таких работах монтируется из деталей, имеющих разную степень универсальности и истинности, что можно показать на примере одного из «ключевых слов», фигурировавших в цитированном выше реестре.

Слово это — «счастье», и в статье о нем А. А. Зализняк «русская мифология счастья» задается следующим рядом признаков:

«(i) счастье — это *земное блаженство*;

(ii) счастье где-то есть, но ему нет места в жизни *здесь и сейчас*;

(iii) счастье нельзя приобрести каким-либо алгоритмическим образом (заслужить, заработать и т.п.), его можно либо случайно *найти*, либо оно может на человека *свалиться* или *выпасть* ему;

(iv) счастье — это немного стыдно» [2, с. 167].

Для того чтобы проверить справедливость этих утверждений, достаточно обратиться к русской литературной эпохе XVIII столетия и особенно к державинской поэзии, для которых счастье действительно было одним из наиболее важных слов. Ограничимся несколькими общими замечаниями и иллюстрациями (частично выходящими за рамки лингвистической экзегезы и не вполне отвечающими приведенному выше критерию А. Д. Шмелева).

Начнем с того, что *счастье* и *блаженство* в эту эпоху скорее антонимы, чем синонимы: они противопоставлены друг другу, по меньшей мере, по двум линиям. Во-первых, *счастье* нередко выступает по отношению к человеку в роли субъекта и даже открыто персонифицируется, то почти целиком уравниваясь с Фортуной, то оказываясь самостоятельным божеством, хотя и весьма напоминающим своими повадками и атрибутикой все ту же судьбу (ср. державинскую оду «На счастье»). С *блаженством* ничего подобного не происходит: это испытываемое человеком состояние, иногда обретающее облик дара (но не дарителя). Во-вторых, *блаженство* как раз во многом и есть независимость от капризов *счастья* или нечто к нему

вообще безотносительное: «Но тот блажен, кто не боится / Фортуны потерять своей...» [3, с. 274] (при том, что Фортуна в этом державинском стихотворении полностью синонимична счастью).

Будучи двойником судьбы, *счастье* столь же переменчиво, своевольно, несправедливо и прямо коварно, о чем в поэме М. М. Хераскова «Пилигримы, или Искатели Счастья» сказано так:

Народы мухи суть, а счастье паутина,
И люди думают блаженство в нем найти;
Но кроме сильных мух, все гибнут в ней почти...
<...>

У счастья множество силков, шумих, сетей
[4, ч. 3, с. 249].

Тем самым *счастье* как будто бы никак невозможно расположить к себе, да и вообще отыскать (на втором мотиве держится вся херасковская поэма). Однако до конца фатальной эта невозможность не является. Один из героев сумароковской трагедии «Синав и Трувор» — рупор авторских идей — произнесет в своем монологе:

Нет счастья на земли, на небесах оно:
Оставлено богам и смертным не дано.
Дано, но мы его страстями разрушаем...
[5, с. 125].

По сути, здесь уже обозначен — от противного — путь к *счастью*, и это уже не счастье-фортуна, а счастье неизменяющее. В державинской лирике мы находим целую серию вариаций на ту же тему, очерчивающих вполне осязаемую рецептуру счастья: «...счастье нам прямое / Жить с нашей совестью в покое»; «За счастьем в свете не гоняться, / Искать его в самом себе...» [3, с. 200, 117] и др. В таком заключенном в самом человеке счастье нет и не может быть ничего стыдного, но зато есть другое — сознание долга, нравственный императив, повелевающий *не забываться* и *помнить о других*.

И даже в свете этих разрозненных примеров очевидно, что реконструированная А. А. Зализняк «философия счастья» если где-то в русской культуре и существует в полноформатном виде, то явно за пределами XVIII века.

Еще в большей степени произвольность в выборе контекстов проявляется тогда, когда от поиска «ключевых слов» обращаются непосредственно к поиску ключевых концептов. Сошлемся на словарь «констант» русской культуры (во всем ее объеме и на всем ее протяжении), обширные материалы к которому выпустил Ю. С. Степанов (1997 г. — первое издание; 2001 г. — второе, дополненное; 2004 г. — третье, дополненное). Терминологический фундамент этой книги образуют три тесно связанные категории — «концепта», «культуры» и «констан-

ты». Культура понимается Ю. С. Степановым как совокупность концептов и устойчивых отношений между ними, константа — как концепт, который существует «...постоянно или, по крайней мере, очень долгое время», а сам концепт — как «...основная ячейка культуры в ментальном мире человека» [6, с. 45, 84]. В структуре концепта ученый выделяет три слоя (по степени их актуальности для пользователей), самый глубокий из которых — «внутренняя форма», в повседневной жизни не осознаваемая, но «закодированная» в слове.

Наличие такого «подсознательного» слоя позволяет Ю. С. Степанову говорить о мотивированности именования концептов, но одновременно дает повод насыщать статьи об отдельных константах всевозможным лингвистическим, литературным, философским и иным «разнонациональным» материалом. В результате в размышлениях о концептах русской культуры парадоксальным образом почти ничего собственно русского иногда не остается. Та же тенденция проявляется и в самом выборе тех нескольких десятков констант, портреты которых с разной степенью детализированности представлены в словаре. Ряд этот в особых комментариях не нуждается: «время», «интеллигенция», «мир» (и «ментальные миры»), «грех», «слово», «совесть», «зло», «Буратино», «партийность», «София», «черная сотня», «вера», «Баба-Яга», «славянофилы и западники» и т.д.

В более общей перспективе работа Ю. С. Степанова заставляет задуматься о статусе термина «концепт», возникшего в недрах когнитивистики и когнитивной лингвистики и за последние десятилетия совершившего бурную экспансию в сопредельные сферы гуманитарного знания (особенно в отечественном их изводе). Не стремясь охватить почти безбрежное множество интерпретаций этого термина, остановимся только на одном моменте.

Наиболее последовательно радикальное понимание природы концепта (разделяемое, например, З. Д. Поповой и И. А. Стерниним) заключается в том, что концепт прежде всего — это «единица мышления» (или «мыслительный образ, единица универсального предметного кода»), которая может и не иметь языкового выражения, своего устойчивого «номинативного поля»: «...словесная номинация концепта не является обязательным условием выделения концепта как реально существующей ментальной единицы и в принципе не является обязательной для существования концепта» [7, с. 35, 63, 78].

Одна из предпосылок этого тезиса — семиотическая. В когнитивных исследованиях языку выпадает «техническая» роль — служить «упаковкой» или своеобразным «реле» для различного рода ментальных операций, обеспечивающих по преимуществу эффективность коммуникативных процессов, успеш-

ность понимания. И подобная девальвация лингвистического знака (и прежде всего слова) напрямую связана с тем, что знак этот во многом перестает восприниматься как билатеральная единица и низводится, по сути, до одного только «означающего».

Сказанное, подчеркнем, не равносильно признанию того, что человек мыслит только посредством слов, или отрицанию существования «ментальных пространств» (термин Ж. Фоконье) как таковых. В одной из работ Ж. Фоконье и М. Тернера говорится, к примеру (и к отрицательному пафосу этого замечания можно только присоединиться): «У нас нет концепта *дом*, а есть слово «дом», и возможность использовать это слово... требует способности конструировать, связывать и активизировать соответствующие пространственные конфигурации, фреймы и когнитивные модели» [8, р. 70]. Речь идет о другом — о возвращении к более сбалансированному представлению о лингвистическом знаке как о подвижном месте пересечения рядов «означаемого» и «означающего». И здесь можно было бы вспомнить в особенности о модели «асимметричного дуализма» языкового знака, предложенной в свое время С. О. Карцевским и обобщенной Г. П. Мельниковым (построившим типологию «синсемических» отношений между знаками с учетом трех факторов: формы, значения и смысла — определяемой контекстом значимости). Любой текст разворачивается за счет непрерывной игры называемого и неназываемого, пульсации «означающих» (которые иногда могут сокращаться до нуля), и об этом хорошо знали уже создатели первых риторик. Поэтому когнитивисты, разработавшие столь несомненно эффективный инструмент анализа, как «концептуальная метафора» (термин Дж. Лакова и М. Джонсона), с этой точки зрения лишь обнаружили механизмы метафоризации на более глубоком уровне, на котором семантическая связность устанавливается не между соседними, а между удаленными друг от друга словами и в масштабах текста в целом.

В этой перспективе гораздо более плодотворная методика обнаружения «ключевых слов» была разработана группой лингвистов под руководством Ю. Н. Караулова и Е. Л. Гинзбурга при решении частной лексикографической задачи — создании словаря языка Достоевского (четыре выпуска которого вышли в 2001—2005 гг.). Центральная категория, вокруг которой разворачивался этот проект, — «идиоглосса» (= «лексический идентификатор языковой личности» писателя) [9, с. 324]; от остальных слов она отличается тем, что не просто обозначает входящие в состав авторской реальности вещи, но представляет собой «тезаурообразующее понятие» [10, с. 426—427]. Однако любопытнее всего то, как идиоглоссы выявляются. Е. Л. Гинзбург и Ю. Н. Караулов полагают,

что идиоглоссам свойственна повышенная устойчивость к процедурам сокращения текста, и потому главными сферами их поиска считают названия произведений (и их частей) и те фрагменты текста, которые можно квалифицировать как афоризмы. Дальнейшая же работа ведется в три шага. Сначала из такого рода редуцированных текстов собирается своего рода «дайджест» и подвергается статистической обработке; затем вероятные кандидаты на «звание» идиоглоссы проходят «экспертную оценку»; а затем задействуется еще одно предполагаемое качество идиоглосса — их способность служить «лексическими аттракторами», быть центром притяжения для других слов, создавать вокруг себя «собственное ассоциативное пространство».

Разумеется, в этой методике есть свои уязвимые места (особенно это касается «экспертной оценки»), но принципиально важным кажется разделение двух взаимодополнительных операций — компьютерной обработки текстов и интерпретации полученных таким образом результатов. Только необходимо сделать еще один шаг и превратить вторую фазу в нечто более верифицируемое, а это, как кажется, недостижимо без выхода за пределы собственно лингвистического — лексико-семантического — описания.

Все это вплотную подводит нас к тому, чтобы задаться вопросом о статусе слова в литературном произведении. Не пытаясь ответить на этот вопрос с подобающей ему полнотой (и вынося за скобки бесчисленные его филологические и философские трактовки), обратим внимание на то, что слово отчасти и «в жизни», но преимущественно «в поэзии» (если вспомнить различие В. Н. Волошинова) превосходит само себя и не только по направлению к ментальному измерению. Уже с общесемиотической точки зрения слово (как и любой знак) отсылает к своему предмету (а в конечном счете — к реальности), причем, как давно показал Ч. С. Пирс, разные типы слов и их сочетаний могут делать это по-разному — и символически, и иконически, и индексально.

В свое время крупнейший феноменолог Р. Ингарден обосновал влиятельную концепцию иерархичности литературного произведения, в котором он вычленил звуковой слой, слой значений, предметный слой и слой «видов» — тех проекций, в которых предметы предстают перед читателем. В отечественной филологии активным пропагандистом этого подхода был А. П. Чудаков, в работах которого с отчетливостью обозначились и сильные, и слабые стороны предложенной Р. Ингарденом модели. К изъянам относится прежде всего жесткое различие уровней произведения, что — в версии А. П. Чудакова — обернулось стремлением обнаруживать на всех уровнях действие одних и тех же закономерностей. И в этом смысле значительно более гибкой по своему

потенциалу выглядит лотмановская концепция «вторичных моделирующих систем», в горизонте которой литературный художественный текст надстраивается над естественным языком (системой «первичной», «конвенциональной», как вначале полагал Ю. М. Лотман вслед за Ф. де Соссюром), и этот язык иконизирует. Ученый даже напишет о том, что в результате подобной переработки «...возникает вторичный знак изобразительного типа (возможно, его следует соотносить с «образом» традиционной теории литературы)» [11, с. 73—74].

Поэтому уровневой модели литературного текста должна быть предпочтена иная, которую можно было бы назвать тектонической, имея в виду то, что различные уровни текста не накладываются статически друг на друга, но пребывают в колеблющемся состоянии, смещаются, пересекаются, смешиваются. И особо нужно уточнить при этом статус предметного / иконического слоя. У Р. Ингардена (а отчасти и у Ю. М. Лотмана) господствующая интуиция здесь — визуальная. Однако зримым (как и вообще относящимся к ведению воображаемой сенсорике — слышимым, осязаемым, обоняемым) дело не исчерпывается. Чувства, переживаемые героями, явно не сводятся к знакам этих чувств и не могут считаться предметами среди других предметов. Невозможно зачислить в «предметный» ряд и мотивы, с их предикативной природой. А потому в этом случае целесообразнее говорить не о предметном, а о референтном измерении текста.

Так, основная дуга в литературном тексте замыкает между собой слово — этот и сам по себе двусторонний (и открытый по направлению к ментальным пространствам) асимметричный знак — и выстраиваемую текстом воображаемую референтную вселенную. Литературные феномены по своей природе — образования «гибридные». И если предложить теперь дефиницию литературных универсалий, то их нужно определить как возникающие в рамках определенного периода развития национальной литературы лексико-референтные единства, наделенные достаточной стабильностью и, вместе с тем, энергией изменчивости и варьирования и по-разному — в неодинаковых объемах и проекциях — воплощающиеся в различных авторских реальностях и в конкретных текстах. С общесемиотической точки зрения литературные универсалии представляют собой смешанные знаки: иконические — поскольку они во многом обращены к воображению (Ж. Делез и Ф. Гваттари именно на этом основании отграничивали от концептов — «перцепты»); индексальные — поскольку знак в универсалиях неразрывно связан со своим объектом; символические — поскольку они разлагаются в «бесконечную серию» (по выражению Ч. С. Пирса) случаев их реализации.

Учитывая все это, можно выдвинуть идею о взаимодополнительности процедур обнаружения ключевых слов и литературных универсалий (ядро последних составляют литературные характеры, если понимать под характером логику развертывания литературного героя в тексте). Ключевые слова должны отыскиваться с помощью лингвостатистического анализа максимально полного эпохального или авторского корпуса текстов. И таким образом выявляемые ключевые слова можно было бы именовать лексическими универсалиями или, как их предложил называть проф. А. А. Кретов, «маркемами». Вычленение литературных универсалий также предполагает опору на слово и фронтальную обработку исследуемых текстов, только цель ее уже — «отсеивание» не выделяющихся по своей весовой характеристике словоформ, а таких литературных объектов, которые регулярно делаются в текстах предметом самоописания и тем самым получают закрепленный — «терминологический» — лексико-семантический и (что еще более важно) ономастический облик.

Собственно, интерпретационная задача заключается в поиске соответствий между универсалиями лексическими и литературными. Как представляется, маркемы (среди которых, согласно исследованиям А. А. Кретьева, не случайно преобладает абстрактно-безденотатная лексика) означивают общие границы, внутри которых возникают и претерпевают метаморфозы литературные универсалии. К примеру, такие маркемы русского языка XVIII в., как «добродетель», «человек», «сердце», «богатство», «счастье», «блаженство», «спокойствие», «должность» и другие, выявляют прежде всего смысловую — лексико-семантическую, ментальную — решетку той вселенной, в лоне которой складываются базисные для эпохи и парадигматичные для всей русской литературы характеры «героя» и «поэта». Если же перевести сказанное на более «технический» язык, то возникающая

в связи с этим гипотеза состоит в следующем: маркемы (по крайней мере, доминантные) обладают способностью концентрироваться в некоторых текстах, причем происходит это за счет того, что в роли лексических аттракторов в подобных текстах и выступают номинации литературных универсалий.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Вежбицкая А.* Понимание культур через посредство ключевых слов / А. Вежбицкая. — М. : Языки славянской культуры, 2001. — 287 с.
2. *Зализняк А. А.* Ключевые идеи русской языковой картины мира / А. А. Зализняк, И. Б. Левонтина, А. Д. Шмелев. — М. : Языки славянской культуры, 2005. — 540 с.
3. *Державин Г. Р.* Сочинения / Г. Р. Державин. — СПб. : Академический проект, 2002. — 712 с.
4. *Херасков М. М.* Творения / М. М. Херасков. — М., 1796—1803. — Ч. 1—10.
5. *Сумароков А. П.* Драматические сочинения / А. П. Сумароков. — Л. : Искусство, 1990. — 479 с.
6. *Степанов Ю. С.* Константы : словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. — М. : Академический проект, 2001. — 989 с.
7. *Попова З. Д.* Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. — М. : АСТ : Восток — Запад, 2007. — 314 с.
8. *Fauconnier G.* Conceptual Projection and Middle Spaces / G. Fauconnier, M. Turner. — San Diego : University of California, 1994. — 78 p.
9. *Гинзбург Е. Л.* Идиоглосса : к вопросу о выразительности контекста / Е. Л. Гинзбург // Слово Достоевского. 2000. — М. : Азбуковник, 2001.
10. *Караулов Ю. Н.* Понятие идиоглоссы и словарь языка Достоевского / Ю. Н. Караулов // Слово Достоевского. 2000. — М. : Азбуковник, 2001.
11. *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. — М. : Искусство, 1970. — 384 с.

*Воронежский государственный университет
Фаустов А. А., доктор филологических наук,
профессор, заведующий кафедрой русской литературы
E-mail: aafaustov@list.ru
Тел.: (4732) 20-84-98*

*Voronezh State University
Faustov A. A., Doctor of Philological Science, Professor
of the Russian Literature Department
E-mail: aafaustov@list.ru
Tel.: (4732) 20-84-98*